

«Семья»



«Эдуард Сероусов»

Эдуард Сероусов

Семя

<https://litres.ru/74192994>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ирина Соколова — звёздный селекционер корпорации «Гелиос» и главный архитектор «Деметры», инженерного почвенного симбионта, который двадцать лет назад покончил с мировым голодом. Двенадцать лет назад она схлопнула десяток «грязных» путей распознавания корня в один — универсальный, элегантный, единственный. Её мать Тамара, хранительница мерзлотного Ковчега, тихо записала тогда: «И. убрала запасные». Год спустя после смерти матери Ирина замечает на образцовой делянке серое пятно. Под микроскопом она видит невозможное: патоген не трогает растение — он ест саму «Деметру», подделав то единственное рукопожатие, которое Ирина сделала идеальным. Очаги вспыхивают одновременно на всех континентах, и мир сползает к голоду. Повесть о цене единственности и о выживании множества.

Содержание

Часть первая. Поле	4
Часть вторая. Рукопожатие	16
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдуард Сероусов

Семя

Часть первая. Поле

1

Поле выглядело неправильно, и Ирина любила его именно за это.

На одной делянке росли шесть культур разом. Пшеница стояла плечом к плечу с соей, соя жалась к сорго, кукуруза поднималась над ячменём, как взрослый над детьми, и всё это было налито так густо, так избыточно, что земля под ногами казалась не почвой, а решением, которое кто-то однажды нашёл и больше не собирался от него отступать. Двадцать лет назад на этом гектаре снимали по одному урожаю и молились о дожде. Теперь снимали три, и дождь был подробностью, а не приговором.

Над делянками шли дроны-опылители — низкий, ровный гул, от которого к полудню начинало ломить в затылке. Запах стоял плотный, почти сладкий: перегретая на солнце ботва, влажный чернозём, что-то цветочное поверх. Ирина шла между рядами и читала поле так, как другие читают лица. Тургор листа. Угол, под которым колос держит зерно. Цвет междоузлий. Всё говорило одно и то же, и это одно бы-

ло — здоровье, изобилие, порядок.

Телефон в нагрудном кармане дрогнул дважды. Она знала, кто это, ещё до того, как достала: в расписании на четверг, между полевым обходом и совещанием по второму контуру, у неё стояло сорок минут, помеченных одним словом — «Соня».

— Привет, — сказала Ирина, и собственный голос показался ей чуть громче, чем нужно, перекрывая дронов. — Я тебя вижу. Подвинься ближе к окну, у тебя темно.

На экране дочь подвинулась, и трещина, наискось пересекавшая стекло уже третий месяц, разрезала её лицо от брови до подбородка. Ирина всё откладывала ремонт. Сквозь трещину Соня смотрела так, как смотрят дети, которые уже научились не просить вслух того, чего хотят.

— Ты в поле, — сказала Соня. Не вопрос. Упрёк, обёрнутый в наблюдение.

— Я в поле. Тут красиво. Хочешь покажу?

Ирина развернула камеру к делянкам. Шесть культур, золото и зелень, гул, простор. Она ждала «ого». В девять лет Соня говорила «ого» на всё подряд. В одиннадцать на это уже не покупались.

— Угу, — сказала Соня. — Пап сказал, ты на выходные не приедешь.

Ноготь большого пальца сам собой вдавился в подушечку указательного — коротко, сильно, до белизны. Привычка, от которой Ирина так и не избавилась: когда разговор сходил с

рельсов расчёта, тело искало точку, в которую можно нажать, чтобы удержать всё на месте.

— У нас развёртывание, — сказала она ровно. — Большое. Я не могу его бросить на середине, понимаешь? Это как... — она искала, — как нельзя выйти из комнаты, пока не закончишь опыт, иначе всё насмарку. Я приеду через две недели. Я считаю дни. У меня есть дни, я их считаю.

— Ты всегда считаешь дни, — сказала Соня.

Это было сказано без злости, и потому ударило сильнее, чем удар. Ирина открыла рот, чтобы ответить что-то про две недели, про подарок, про то, что они сходят туда, куда Соня хотела, — и в этот момент боковым зрением поймала лист.

Один лист сорго, в полуметре от её колена. На нём было пятно.

Серое.

Не бурое, как ржавчина, не жёлтое, как хлороз, не чёрное, как головня. Серое, ровного пепельного оттенка, с краями чуть размытыми, будто кто-то прижал к зелени тёплый палец и провёл. В середине пятна лист словно истончился, стал прозрачнее, как ткань, которую слишком долго стирали.

Ирина смотрела на него секунду дольше, чем следовало бы смотреть на пустяк.

— Мам? — сказала Соня. — Ты опять туда смотришь.

— Я слушаю. Две недели. Обещаю.

Она протянула свободную руку, отщипнула лист у черешка и, не глядя, сунула в карман пальто — туда, где уже лежа-

ло что-то маленькое и плотное, чего она почти не помнила. Просто чтобы под микроскопом потом, между делом, между настоящими делами, посмотреть, что это за грибок завёлся на образцовой делянке. Образцовые делянки не болеют. Значит, это какая-то ерунда. Краевой эффект, занос с соседнего поля, ничего.

— Расскажи, что в школе, — сказала она. — У тебя сорок минут моих. Трать.

И Соня начала рассказывать — про контрольную, про девочку, с которой поссорилась, про то, что хочет на день рождения, — быстро, захлёб, тратя свои сорок минут, словно боялась не успеть. Ирина слушала вполуха и смотрела на дочкино лицо, разрезанное трещиной экрана надвое, и думала, что надо бы наконец заменить стекло, и что две недели — это совсем скоро, и что она и правда считает дни. Оба они знали, что слушает она вполуха. И оба делали вид, что не знают, потому что иначе нельзя было закончить разговор по-доброму, а заканчивать по-доброму Ирина пока ещё умела.

2

Вечером в кампусе «Гелиоса» включили большой экран на торце исследовательского корпуса, и две сотни сотрудников вышли смотреть трансляцию на воздух, с пивом в пластиковых стаканах, как смотрят салют.

Развёртывание второго контура «Деметры» подавали как праздник, и Ирина понимала почему. Двадцать лет назад мир считал калории и хоронил детей в засушливом поясе.

Потом пришла «Деметра» — и не пришла, а вошла, тихо, в почву, под корни, и всё переменялось так быстро, что человечество едва успело испугаться. Не новый сорт. Не удобрение. Партнёр. Инженерный почвенный микроб, который любая культура принимала как родного, оплетал корень, кормил его, и растение в благодарность утраивало то, что отдавало человеку. Пшеница, рис, кукуруза, маниока, картофель — всё бралось за «Деметру» с одинаковой готовностью, потому что Ирина и её отдел сделали так, чтобы бралось.

На экране был Виктор Гесс. Главный конструктор стоял в каком-то невозможно чистом теплом ангаре, и за его спиной по транспортёрам ехала будущая зима человечества — мешки, мешки, мешки.

— Двадцать лет назад, — говорил Гесс негромко, и аудитория притихла, потому что Гесс всегда говорил так, будто сообщал тебе лично нечто важное, — нам сказали, что голод — это судьба. Что он вписан в нас, как в любой биологический вид, который размножается быстрее, чем кормит себя. — Он сделал паузу. — Мы не согласились. Мы решили, что природа — это не приговор. Природа — это задача. А у задачи, дамы и господа, всегда есть ответ.

Кто-то рядом с Ириной поднял стакан. Она поймала себя на том, что её собственная грудь чуть расправилась — то знакомое, тёплое, постыдно сладкое чувство, когда твою работу называют ответом на задачу, которую человечество не могло решить тысячи лет.

Сладкое чувство держалось ровно до того мгновения, пока в голове, без приглашения, не зазвучал другой голос. Низкий, упрямый, с землёй под ногтями.

«Ты хочешь, чтоб у жизни был один правильный ответ. Дитя, у жизни нет одного правильного. У жизни есть много живых».

Тамара говорила это на кухне, восемь лет назад, держа в пальцах сухой колючий шарик репейного семени и поднимая его к лампе, будто там, на просвет, было что-то, чего Ирина не видела. Ирина тогда ответила что-то острое и точное, что-то про урожайность и про то, сколько детей не умрёт, и мать замолчала, а потом сказала: «Ну да. Ну да». Тем тоном, которым люди отвечают не тебе, а будущему.

Год назад мать умерла. Одна, в своём мерзлотном Ковчеге на краю света, среди семян, которые никому не были нужны, потому что человечество наконец нашло ответ.

Ирина опустила недопитый стакан на парапет. В кармане пальто, рядом с забытым серым листом, лежал нераспечатанный бумажный пакетик. Тамара сунула его дочери в карман в их последнюю встречу — «посади, когда захочешь», — и Ирина не посадила. Не выбросила и не посадила. Просто носила, перекладывая из пальто в пальто, как носят камень, который однажды кто-то дал тебе на память, и теперь неловко и оставить, и выкинуть.

Пакетик был холодный. На экране Гесс улыбался, и за его спиной ехала еда всего мира — вся, до последнего зерна,

выросшая на одном и том же рукопожатии, которое Ирина когда-то сделала идеальным.

— На следующей неделе, — говорил Гесс, — мы развернём «Деметру» второго поколения ещё на сорока миллионах гектаров. Голод, дамы и господа, мы оставим в учебниках истории. Рядом с чумой и оспой.

Аплодисменты прокатились по двору. Ирина не аплодировала.

Назад в квартиру она пошла через кампус, мимо открытой допоздна столовой, где для ночной смены ломились столы. Хлеб лежал горами — белый, чёрный, с семечками, с орехами, — его брали не глядя, и недоеденное сметали в баки, потому что завтра привезут ещё, и послезавтра, и всегда. Так теперь и жили: еду не считали, как не считают воздух. Двадцать лет назад за корку дрались — теперь корки летели в компост, и это называлось изобилием, и было правдой. Молодой лаборант у раздачи навалил полную тарелку, отъел половину, бросил, спеша, — и не он один так, и никто не смотрел вслед. Сытость стёрла из людей ту память, которую старики ещё носили в теле, — память о том, каково это, когда нет.

У проходной горели лотки ночного рынка: два десятка сортов помидоров, лиловая морковь, чёрный рис, кукуруза в палитре от молочной до почти багровой. Разнообразие, которым «Гелиос» гордился в каждом отчёте: смотрите, мы не обеднили мир одним сортом — мы его обогатили. Ирина и

сама любила это говорить. И только теперь, мимоходом, с чужим яблоком в руке, поймала на краю мысли неудобное: вся эта пёстрая, лиловая, багровая роскошь стоит на одном. Под каждым сортом, под всей радугой — одна и та же «Деметра», одно и то же рукопожатие. Её рукопожатие. Разнообразие сверху, одна опора снизу. Мысль была неуютная, и Ирина отложила её — туда же, где лежали нераспечатанный пакетик и неоткрытая коробка.

Она думала о сером пятне на листе сорго и о том, что забыла поставить образец под микроскоп.

3

В квартире, которую компания снимала для неё в десяти минутах от кампуса, было чисто, пусто и временно, как в гостинице, где живёшь слишком долго. Ирина не вешала картин. Картины предполагали, что ты останешься.

Коробка стояла в углу прихожей. Она простояла там почти год — с тех пор, как из города на Лене пришла опись имущества и юрист спросил, что делать с «личным архивом покойной». Ирина сказала: перешлите мне. Сама не зная зачем. Может, чтобы не отдавать чужим. Может, чтобы было кому отдать вину.

Сегодня была годовщина. Ровно год. Ирина это помнила весь день, не позволяя себе об этом думать, — так держат в уме боль, на которую сейчас нет времени.

Она присела на корточки перед коробкой. Картон по краю взялся пылью; на крышке материнской рукой, прямой и

крупной, было написано простое слово, от которого у Ирины сжалось горло прежде, чем она успела это запретить:

«ЖИВОЕ».

Не «архив». Не «семена». Не «фонд». Тамара всю жизнь воевала за одно слово против другого. Корпорация говорила «биоразнообразие» — мать говорила «страховка». Корпорация говорила «генетический ресурс» — мать говорила «живое». Одно и то же на двух языках, и Тамара до самой смерти отказывалась переходить на язык, на котором говорила её дочь.

Внутри, Ирина знала, лежат полевые дневники. Списки сортов. Карта. Имена людей, которых мать называла «храни-телями» с той же серьёзностью, с какой Гесс называл «при-роду» задачей. Сеть стариков и упрямцев по всему северу, державших у себя в погребах и теплицах «устаревшие» се-мена, не несущие «Деметру», — потому что Тамара не вери-ла, что можно сложить всё живое в один холодный ящик и назвать это безопасностью.

«Прятать — это вы, в городе, научили, — сказала ей как-то старуха-якутка, напарница матери, имя которой Ирина не помнила. — Твоя мать не прятала. Она раздавала».

Ирина положила ладонь на крышку. Под пылью картон был холодный, как пакетик в кармане, как всё, что осталось от Тамары.

Открыть коробку значило признать, что мать была не сумасшедшей старухой, цепляющейся за прошлое, а челове-

ком, который понимал что-то, чего не понимала её гениальная дочь. Открыть коробку значило начать слушать спустя год после того, как стало поздно отвечать.

Ирина убрала руку.

— Завтра, — сказала она пустой прихожей.

Она говорила это пустой прихожей уже триста шестьдесят пять раз.

4

Телефон зазвонил в начале первого ночи, и звонок был неправильный — не мессенджер, не видео, а простой голосовой вызов, какими теперь почти не пользовались, разве что когда не хотели, чтобы осталась запись.

— Лев, — сказала Ирина, узнав номер. — Сейчас полночь.

— Я знаю, сколько сейчас. — В трубке что-то ритмично чавкало; Лев жевал свою никотиновую жвачку, как всегда, когда нервничал, — два года назад бросил курить и с тех пор перемалывал тревогу челюстями. — Слушай. Ты ещё работаешь в южном поясе, да? На опытных?

— Работаю. А что?

Пауза. Чавканье прекратилось — а это было хуже, чем если бы оно продолжалось.

— У тебя есть доступ к данным по фитосанитарке за последние полгода? К сырым, не к сводкам.

— Лев, что случилось.

— Я тебе сейчас скину файл. — Его голос потерял всю

обычную дёрганую лёгкость и стал плоским, осторожным, как у человека, идущего по льду, который только что треснул. — Не открывай, если хочешь спать. Серьёзно. Открой утром, на свежую голову, при свете.

— Ты позвонил мне в полночь, чтобы сказать не открывать?

— Я позвонил, потому что не знаю, кому ещё. — Он сглотнул; она услышала это в трубке. — Ты «Деметру» знаешь как никто. Ты её, считай, сделала. Мне нужно, чтобы кто-то, кто её сделал, посмотрел сам и сказал мне, что я ошибся. Что я просто устал и вижу узоры там, где их нет.

— Что я должна увидеть?

— Просто посмотри сама, — сказал Лев. — Я не хочу подсказывать тебе, что искать. Если я скажу, ты найдёшь это, даже если этого нет. А если не скажу и ты всё равно найдёшь... — Он не договорил.

Файл упал в почту с тихим стуком. Ирина смотрела на тёмный экран, на иконку вложения, на время в углу: 00:14.

Где-то за тысячу с лишним километров отсюда, в большом городе, спала её дочь, у которой завтра контрольная по математике и трещина через всё лицо на родительском экране. Где-то ещё дальше, на краю мерзлоты, стояла запертая штольня, полная семян, которые мать называла живыми.

А здесь, в пустой временной квартире, в начале первого ночи, женщина, сделавшая идеальным рукопожатие, на котором держалась еда всего мира, навела курсор на файл и

нажала.

Экран мигнул, разворачивая первый график, — и оборвался.

Часть вторая. Рукопожатие

5

К трём часам ночи Ирина перестала чувствовать собственные руки и поняла, что не ошибся ни Лев, ни она.

Лаборатория опытной станции в этот час принадлежала только ей и гудению холодильных камер. Она пришла сюда сразу после звонка — не смогла смотреть на файл из квартиры, ей нужно было железо, нужен был микроскоп, нужно было увидеть это своими, а не чужими глазами, потому что глазам Лёвы она верила меньше, чем своим.

На предметном столике лежал срез заражённой ткани с того самого поля. Не сорго даже — она взяла на пробу всё, что было под рукой: пшеницу, сою, картофель. Под объективом серое пятно теряло свою пепельную ровность и распадалось на то, чего быть не могло.

Грибок поражает растение. Это закон, такой же твёрдый, как то, что предмет падает вниз. Патоген находит клетку хозяина, вскрывает её, ест. Ирина двадцать лет смотрела в микроскопы и знала, как выглядит растение, которое убивают: разорванные стенки, вытекшее содержимое, фронт некроза, ползущий по живой ткани.

Здесь было не так.

Клетки растения стояли целые. Аккуратные, тургорные, живые — пустые квартиры с нетронутыми стенами. Серые

нити шли не сквозь них, а *между* ними, по тончайшему пространству у корня, где растение встречалось со своим почвенным партнёром. Гниль не трогала пшеницу. Гниль ела «Деметру».

Ирина откинулась на спинку стула. В лаборатории было холодно — она забыла снять пальто, — и от этого происходящее казалось ещё более нереальным, как сон, в котором тебе зябко.

Она поняла это всем телом раньше, чем словами, и тело сказала раньше языка: если гниль бьёт не растение, а партнёра, то ей всё равно, какое растение. Пшеница, рис, картофель — для патогена это не разные мишени. Это один и тот же замок на разных дверях. Один ключ. Та делянка, где росли шесть культур разом, та делянка, которой она любовалась днём и которую любила за её неправильную, избыточную, торжествующую жизнь, — это была не делянка. Это была одна-единственная мишень, надетая на шесть растений.

Ирина наклонилась обратно к окуляру и долго, очень долго смотрела, как красиво, как чужеродно, как неправильно растут серые нити — не разрушая, а оплетая, не убивая клетку, а отнимая у неё того, кто её кормил. Это была не грубая смерть. Это было что-то почти изящное.

«Чтобы зараза была тревожной, а не просто мрачной», — подумала она некстати, и не поняла, откуда взялась эта мысль, и испугалась её больше, чем графиков.

Лев приехал к семи, серый лицом, и привёз кофе, который оба не стали пить.

— Скажи мне, что я не прав, — сказал он с порога. Жвачка ходила у него за щекой. — Ты ведь за этим тут всю ночь сидела. Чтобы найти, где я ошибся.

— Сядь. — Ирина вывела на большой настенный экран кривую, которую собрала из его сырых данных и своих ночных проб. — Что тебе сказали наверху?

— Что локализовано. — Лев сел, но тут же встал. — Что это очаговая аномалия в южном поясе, что штамм идентифицируют и локализуют, что развёртывание второго контура идёт по графику и нечего сеять панику перед инвесторами. — Он горько усмехнулся. — Я написал в первом отчёте «аномалия». Знаешь, сколько весит слово «аномалия»? Ровно столько, чтобы его не заметили. Я подобрал его специально. Чтобы не звучало как пожар.

— Лев.

— Я не трус, — сказал он, и услышал себя, и закрыл глаза. — Я... осторожный.

Ирина не ответила. Она ткнула в кривую.

— Это не очаг. Очаг выглядит как точка, от которой расходятся круги, и круги замедляются — патоген упирается в границы хозяина, в климат, в расстояние. Вот это, — она провела пальцем по линии, которая не замедлялась, а круто шла вверх, как взлетающий борт, — так не выглядит ни один очаг, который я видела. Дай мне число, Лев. Не «локализо-

вано». Число. Сколько точек заражения было месяц назад и сколько сегодня.

Лев молчал.

— Сколько.

— Месяц назад — одиннадцать, — сказал он тихо. — На той неделе — около четырёхсот. Вчера вечером перестали считать поточечно. Считают площадями.

Ирина смотрела на кривую и слушала, как внутри неё работает та часть, которая всегда спасала её в трудные минуты: холодная, считающая, отделяющая страх от факта. Эта часть сейчас услужливо подсказывала: четыреста точек — это много, но мир велик; есть карантины, есть фунгициды, есть то, что наверху называют «локализовать»; «Деметра» — наша конструкция, мы знаем о ней всё, мы найдём слабое место патогена и закроем дверь.

Эта часть очень хотела, чтобы Ирина ей поверила. И на одну долгую минуту Ирина почти поверила. Так удобно было поверить. Так тепло.

— Фунгициды? — спросила она, и сама услышала в своём голосе ту же интонацию, какой Гесс говорил «у задачи есть ответ».

— Пробовали на трёх площадках. — Лев покачал головой. — Растению они не вредят. А патоген сидит не в растении. Он сидит ровно в той узкой щели, куда фунгицид не достаёт, не убив сначала «Деметру». А убьёшь «Деметру» — убьёшь урожай своими руками. — Он сел наконец, тяжело.

— Это не баг, Ир. Это форма. Кто-то — то есть никто, оно само — нашло единственное место, где наша конструкция беззащитна. И поселилось ровно там.

7

Она нашла дверь к полудню, и дверью оказалась она сама.

Ирина прогоняла геном патогена через всё, что у неё было: базы, старые проекты, архив отдела за двадцать лет. Ей нужно было понять, *как* гниль научилась видеть «Деметру», ведь симбионт был спрятан в почве, защищён, неприметен. Чтобы охотиться на партнёра, надо сначала научиться его узнавать. Что патоген узнаёт? На что он наводится?

Ответ выпал на экран в виде последовательности, и Ирина смотрела на неё несколько секунд, не узнавая, а потом узнала — и в груди стало пусто и звонко, как в комнате, из которой вынесли всю мебель.

Патоген наводился на «консенсусный локус».

Единое рукопожатие.

Двенадцать лет назад «Деметра» была другой. Грязной. Неэффективной. Она цеплялась за каждое растение по-своему, через десяток разных молекулярных путей распознавания, и каждый путь работал чуть иначе, и от этого симбионт был непредсказуем, капризен, плохо масштабировался: с пшеницей по-одному, с картофелем по-другому, с маниоккой вообще через раз. Урожаи прыгали. Производство злилось.

И Ирина — молодая, блестящая, уверенная, что у задачи

есть ответ, — нашла этот ответ. Она схлопнула десяток грязных путей в один. Чистый. Универсальный. Сверхэффективный. Одно рукопожатие, которое подходило всем — пшенице, рису, картофелю, маниоке, чему угодно, — потому что было сведено к самой сути, к единственному совершенному жесту узнавания. «Деметра» стала всеядной. Урожаи перестали прыгать и пошли вверх. Голод сел в учебники истории. Ирине дали премию и патент, и патент сейчас был открыт у неё на втором экране, и под ним стояла её фамилия, и дата, и формула того самого локуса.

Того самого, который теперь умел подделывать серый грибок.

Двенадцать лет назад, на кухне, мать держала против лампы репейное семя и говорила: «Ты убираешь запасные». Не «ты ошибаешься». Не «это опасно». Просто: ты убираешь запасные. Ирина тогда объяснила ей — терпеливо, как объясняют ребёнку или старику, — что «запасные» это и есть неэффективность, что избыточность это роскошь, которую не может позволить себе голодающий мир, что десять путей хуже одного хорошего. И Тамара сказала: «Ну да». И записала что-то в свой дневник, и Ирина не спросила что.

Теперь Ирина знала что.

Она убрала запасные. Она взяла живую, грязную, избыточную систему с десятком дверей и сделала из неё одну дверь — идеальную, единственную, на весь мир. И заперла её одним замком. И этот замок только что подобрали.

Под коркой лабораторного спокойствия, которым она привыкла накрывать всё, что грозило выбить её из колеи, поднималось то, для чего не было процедуры. Двадцать лет она держала чувство на расстоянии вытянутой пипетки: страх называла «фактором», горе — «событием», вину — «отклонением», и это работало, потому что у фактора, события, отклонения всегда есть протокол. У этого протокола не было. Это нельзя было локализовать, оттитровать, закрыть актом. Она сделала идеальную вещь — и идеальная вещь оказалась дверью, и в эту дверь входила сейчас смерть всех полей мира, и подпись на двери стояла её. Не чужая ошибка, которую можно исправить. Её правота, обернувшаяся гибелью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.